

Изорь Клев

ТЕОРИЯ КРИЗИСОВ

Главы из новой книги эссе

Никогда ничего не пишите, а если уж написали — никому не давайте читать. И сами не читайте — себе дороже будет.

ТЕОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Можно почти не сомневаться, что смерть — своего рода падишах среди болезней. Какова их природа, сам я догадался в тридцатилетнем возрасте, когда после прихода Андропова полежал пару месяцев с желтухой в инфекционной больнице на 8-й Соколиной Горе в Москве. Перебирая события прошлого, я с изумлением обнаружил, что в моей жизни всякий раз болезни предшествовал острый внутренний конфликт. Именно внутренний, а не конфликт с внешним миром, который способен даже придать сил и мобилизовать волю к сопротивлению и иммунитету. Так происходит, когда занимаешься далеко не тем, к чему тебя влечет, делаешь что-то, что тебе претит, идешь в неверном направлении и сам об этом начинаешь догадываться (вплоть до сломанной ноги, что любой сочтет случайностью). Перенеся действие этого правила на своих знакомых, я увидел, что оно работает, только люди отчаянно сопротивляются это признать и с ним согласиться: что ж, мы сами виноваты в своих болезнях?! Не собственно в болезнях, а в сдаче и потакании им из-за невнимания к собственной жизни, в первую очередь — внутренней. Болезни сопровождают нас всегда и везде, сама жизнь не безболезненна, а мироздание катастрофично, но даже наследственная болезнь, не заразная как бы и ничем не спровоцированная, может активироваться и обнаружить себя в критический момент, а может и проспаться весь свой век, и только вскрытие покажет. Но нас вполне удовлетворя-

ет затертая острота (надо признать, блестящая) о жизни как смертельной болезни, передающейся половым путем. Сама острота, а не смысл ее. Когда я поделился кое с кем из близких своими соображениями и умозаключениями, это их шокировало поначалу и, подозреваю, заронило сомнение в моем психическом здоровье. Но годы шли, и вскоре многие из них уже сами расщелкивали не такие уж сложные ребусы и строили предположения о возможном генезисе разных хворей. Вдобавок выяснилось, что уже полвека как существовала — помимо и за вычетом психоанализа всех мастей — убедительная концепция психосоматозов на Западе и у нас, а простой народ и без ученых никогда не сомневался, что «все болезни от нервов».

Как я больше не сомневался, весьма частая у тещ и свекровей гипертония развивается из-за подавляемой по причине хорошего воспитания агрессивности (дать разок сковородкой по голове собственному супругу или невестке — возможно, и отпустило бы). Вот как язва желудка или двенадцатиперстной кишки возникает у маменькиных сынков от фрустрации и неосознанного желания дезертировать из мира взрослых и вернуться в мир материнской опеки, чтобы быть всегда накормленными без всяких условий и собственных В первом случае — от передозировки адреналина, во втором — желудочного сока. Звучит дико, но почему тогда у меня зачастую получалось избавиться от очевидных симптомов начавшейся простуды, если в этот день удастся, поразмыслив, вылущить ядро недовольства собой и успешно поработать руками или головой? Со смертью такой фокус не пройдет. Как и с более серьезными болезнями, когда конфликт носит застарелый и не разрешимый в сложившихся обстоятельствах характер. И тогда или война — или остается полагаться и уповать на медицину. Медики все успешнее лечат болезни, но у них нет средств, сил и задачи врачевания человека как такового, который неизлечим хотя бы потому, что смертен, и его болезни лишь служат напоминанием об этом. Даже если я останусь единственным приверженцем и адептом такой теории болезней, это не значит, что она неверна. Во всяком случае, применительно ко мне, и, кто хочет, пускай сочтет это клиническим случаем, однако покопается и постарается вспомнить, что обычно предшествовало различным болезням в его собственной жизни. Ручаюсь, удивится не меньше, чем герой «Аварии» успешно всеми позабытого Дюрренматта, который однозначно не был сторонником ЗОЖ.

Некоторое отношение к данной теории имеет и другая выношенная мной теория.

ТЕОРИЯ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ

К ней я пришел несколько раньше. В возрасте около двадцати пяти меня заинтриговало и стало беспокоить, что произошло с моими тогдашними друзьями. Украинский поэт и один из лидеров целой поэтической школы, работавший заводским художником; ярко начинавший книжный график, выше пояса плакатный хиппи и очкарик, а ниже — львовский рогуль в стоптанных башмаках; интеллектуал-гуманитарий и фрондер, защитивший скандальный диплом о «нулевом семионе», но вместо науки принявшийся вести литературный кружок и сочинять верлибры в большом количестве; любители авангарда, «заскрибуцы» и «сибариты», изгнанные по обвинению в аполитичности из своих вузов и угодившие в армию, — все они в возрасте около двадцати семи неожиданно поскуцнели и обесцветились, перестали изменяться. Я гадал, что с ними случилось и отчего, а главное — не ожидает ли и меня та же участь через год-другой? Что не на шутку меня тревожило. Материал для размышлений подбросила одна из глав публиковавшегося в розницу филологического романа Битова, который невозможно было в те годы издать оптом. В ней сопоставлялись и сравнивались программные стихотворения трех великих русских поэтов, написанные в этом злополучном возрасте. Стало ясно, что кризис возраста 27 плюс-минус 2, как я его обозначил, неминуем — его не проскочить и не объехать на кривой козе, с тем чтобы продолжить успешное до поры поступательное движение. К этому возрасту человек в общих чертах успевает узнать почти все о жизни: отучиться, найти работу и друзей, жениться, как правило, и родить ребенка, что-то повидать, узнать что почём, — сколько дать швейцару, чтобы пройти в ресторан, с чем тогда были сложности, уметь познакомиться с девушкой и произвести на нее впечатление, — одним словом, вкусить и попробовать большую часть того, что способен предложить ему и сулит мир материальный. И тогда ему необходим или социальный рост, а места все заняты старшими по возрасту, или... прыжок выше головы — выход на новый уровень или в новую для себя область, приложение сил на новом поприще, иначе говоря, *поисковая активность*, а не

адаптация (в терминах того времени — Ротенберга с Аршавским и Ганса Селье). Естественно, ничто такое не дается безболезненно и не проходит безнаказанно.

Попутно, с похожей целью, я допытывался у самых разных людей, помнят ли они себя в дошкольном возрасте, и чаще всего оказывалось, что нет. В лучшем случае — в начальных классах, а до того — пробел. Такая почти поголовная амнезия требовала какого-то истолкования. Я предположил, что резкая социализация в шесть-семь лет начисто отшибает память у детей. Такую перемену правил и условий существования можно сравнить с радикальным изменением среды обитания — с выходом морских обитателей на сушу или, что будет точнее, с превращением головоастиков в слаженный лягушачий детский хор.

В результате, пазл сложился. Есть детство, и особенно раннее, как возраст сильнейших впечатлений, накладывающих отпечаток на всю последующую жизнь. Затем наступает возраст далеко не всегда осмысленных действий, продолжающийся лет тридцать с чем-то. А пожилой возраст и старость — это время размышлений, приведения к общему знаменателю всего того, что составляло твою сущность как личности, подведения итогов, чреватого покаянием, и это главное, зачем старость нужна.

Итак, первый кризис связан с походом в 6-7 лет в школу, где нормы и требования другие, чем в родительской семье, — общественные, государственные и прочие, — отсюда переживания, вытеснение и амнезия всех прежних представлений. Юнг считал это результатом отрыва от природы и погружения в социум, приводящим к отказу от инстинктивного поведения в пользу сознательного, и смело сравнивал его с изгнанием из Рая («Стадии жизни»).

Второй кризис разыгрывается после окончания школы в 17-18 лет. Почва для него предварительно разрыхлена оформлением сознательного «эго», половым созреванием и бунтарским окрасом подросткового возраста по отношению к взрослым — учителям и родителям в том числе. В нормальном или идеальном случае (что одно и то же, поскольку все более-менее ненормальны) молодые люди оказываются поставлены перед необходимостью начать самостоятельную жизнь. То есть — окончательно перерезать или постепенно и понемногу оборвать символическую пуповину, связывавшую их с родительской семьей, до сих пор питавшую их, но и ограничивав-

шую их свободу, подобно поводку. Они обязаны найти себе место под солнцем сами и пустить собственные корни в не столь уж дружелюбном мире (по выражению неприкаянного студента-первокурсника, вышедшего в окно: «Кругом такие кабаны!..») Это очень серьезный кризис, но относительно щадящий, поскольку преодолеть его помогают бушующие в молодом организме силы, которым всё нипочем.

Дальше пресловутый кризис «27 плюс-минус 2», распространяющийся преимущественно на мужчин. У женщин с этой поры и далее совсем другая картина, другие критические годы и даты, о которых не берусь судить — сами пусть разбираются с собой, своими замужествами, родами, менопаузами и проч. О пошляках, смеющих ссылаться на вступление в «возраст Христа» и какие-то личные «голгофы» коммунального масштаба, вообще не стоило бы и упоминать, если бы подобные фигуры речи не были в такой чести у значительной части не верящего ни во что образованного сословия.

У достигших зрелости мужчин неизбежен очередной заезженный донельзя «кризис середины жизни». Он самый серьезный из всех, поскольку носит экзистенциальный характер, не зависящий ни от каких жизненных обстоятельств, — общий для богатых и бедных, чемпионов и аутсайдеров, неудачников всех мастей, лузеров и даже маргиналов. Никакие успехи и достижения не принимаются в расчет, когда перед всеми без исключения встает в полный рост перекладывавшийся «на потом» вопрос о смысле жизни. Лучше всего сущность этого кризиса передал Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу». Считается, что это чувство дезориентации, испуга и отчаяния, словно у потерянного ребенка, настигло ренессансного поэта-первопроходца в 35 лет, и семь лет ему понадобилось для избавления от него в начальных терцинах первой части «Божественной комедии». Учитывая число ушедших из жизни в этом возрастном промежутке гениев первого ряда в различных видах искусства, можно определить этот порог и рубеж как «кризис сорокалетия», плюс-минус несколько лет в ту и другую сторону. Пали лучшие из лучших — выгорели и перегорели или надорвались, скончавшись в расцвете сил, в данном случае это значения не имеет и говорит только о серьезности этого кризиса и опасности данного возраста. В отличие от Данте, Юнг считал его пиком жизни мужчины и сравнивал с положением солнца в зените, после которого неизбежен его постепенный спуск к линии горизонта. Интересно,

что у японцев в старину существовало обыкновение по достижении сорока лет начать новую жизнь с листа — покинуть дом, сменить место жительства, поприще и даже имя. Таким образом они пытались обмануть и превозмочь природу, поскольку в первобытные доисторические времена люди редко жили больше сорока, когда репродуктивный долг в основном исполнен, силы понемногу тают, а в самом организме запускается программа самоуничтожения, которую мы зовем болезнями. Они как бы отбрасывали первую ступень с выгоревшим топливом, чтобы продолжить движение и выйти на орбиту — из биологии в экзистенцию, как и подобает людям.

Видимо, Юнг прав в отношении пика жизни, но начало заката уместнее уподобить преодолению перевала, с последующим переходом на теневую сторону горы и осмотрительным, однако неотвратимым спуском в долину теней. Нечто такое происходит обычно по достижении 50 лет, и возрастом 50+ резонно маркировать следующий кризис, когда не дает покоя призрак подступающей старости и все привычнее становятся разного рода недомогания. Поражает убийственная точность самых затасканных острот и преувеличений: «Если после пятидесяти с чем-то однажды вы проснулись, и у вас ничего не болит — значит, вы уже мертвы».

Сам я последовательно испытал действие всех без исключения вышеупомянутых кризисов на собственной шкуре и только имя не стал менять после сорока, как японцы. Еще об одном, кризисе 66 лет, предупредил меня старший на шестнадцать лет Битов. Не помогло, но подтвердилось. Битов в этом возрасте в первый раз переболел раком, я же по легкомыслию отделался инсультом, ударившим не по походке и физиономии, а по почерку, спутавшим ненадолго все буквы и замкнувшим речь (надо отдать должное ему, знал куда бить).

Битов был суеверен в высшем смысле, как и его кумир Пушкин, и что именно помогло ему дважды справиться с раком, потеряв на полгода голос, не мне судить и не место здесь. Южнокорейский прорицатель как-то пообещал ему 78 полноценных лет «без маразма», а на вопрос, что потом, только повел плечами — это не в его компетенции. Свидетельствую как один последних, кто видел его за десять дней до смерти: и на 82 году жизни на деменцию не было и намека. А что было? Было великое осерчание на собственную физическую немощь, и на всех и всё вокруг, бранчивость, застарелые обиды и капризы по мелочам, неустройство, нелады, чувство заброшенности и ненужно-

сти всего происходящего, отчаянные попытки собраться, посчитать в уме и подвести итоги прожитой жизни, непослушным почерком подписать еще какие-то книги. После чего возвратиться в постель и отвернуться, поглядывая в огромный телевизор, где шел какой-то соцреалистический фильм с Леоновым в главной роли. Кино действовало на него успокаивающе — киносценарист все-таки по одной из промежуточных профессий. Последний русский писатель, поставивший всю жизнь, свою и близких, на карту литературы, как Германн на «пиковую даму», переживал жесточайшую интоксикацию чужими и собственными словами и давно испытывал идиосинкразию к ним, делая исключение только для Пушкина. В новом веке он предпринял две попытки вступить в ту же воду и вернуться к прозе, волевым усилием дописав два своих произведения. Вода оказалась несколько суховата — и это не каламбур, а почти цитата. Битова беспокоило некое «подсыхание» языка своей прозы, которое он стал замечать за собой еще в девяностых, связывая его с возрастными изменениями. Впрочем, и такого уровня влаги достало бы с головой, чтобы утопить большую часть не только русской современной прозы.

Я привез ему десяток экземпляров последней его прижизненной книги, по воле автора превратившейся из трилогии в тетраптих «Оглашенные», которую я снабдил предисловием и обложкой в стиле метафизического гиперреализма. На ней левитирующий мужчина в костюме с отвисшими полами пиджака медитировал, паря над собой же спящим на овальном столе. В конце прошлого века в одной галерее я как-то познакомил писателя с автором этой картины, и мы вдвоем сфотографировались на ее фоне. Мне тогда было несколько не по себе из-за непроизвольного напоминания много старшему нас обоих писателю о неизбежности перехода из посястороннего мира в потусторонний. Кто мог предположить, что меньше чем через год первым уйдет из жизни художник, при более чем трагических обстоятельствах, не дожив и до пятидесяти. И вот двадцать лет спустя стало видно невооруженным глазом, что предстоящей зимы писателю не пережить. Его дочь с помятым крупным лицом призналась мне во время перекура на кухне, что на днях собирается купить больничное кресло-каталку, чтобы отвезти отца в Сбербанк. И добавила, помолчав: «Я стала уже выше папы». Моя тоже уже выше меня.

У Битова был экстраординарный, порой даже самодовлеющий интеллект, и здесь самое место поделиться с читателем его впечат-

ляющей и остроумной версией возрастных кризисов. Как известно, АБ был не на шутку увлечен восточными календарями, гороскопами и нумерологией, поиском созвучий и цифровой подоплеку материального мира, что видно по его автокомментариям ко многим своим книгам. Однако не на пустом же месте возникли все эти существующие тысячи лет звездные бестиарии, символы и циклы? Время покажет.

Так вот, в данном случае для изложения битовской гипотезы не понадобится ничего кроме простейшего циферблата. Кризисны, в позитивном и негативном смысле, зенит и надир на нем. В верхней точке — 12 или 0 часов — рождение человека на свет. По достижении нижней отметки — 6 лет как 6 часов — человек изымается из родительской семьи и направляется в школу, где ему предстоит общаться и находить свое место в окружении сверстников, старшекласников и учителей. 12 лет — гормональный взрыв и вступление в переходный подростковый возраст. 18 — окончательный отрыв от родителей и начало самостоятельной жизни. 24 — пока все путем, молодость в зените, мир распахнут во всех направлениях. А затем опять в низ циферблата — кризис тридцатилетия, плюс-минус. В фатальном возрасте от 36 до 42 судьба избирательно прореживает лучших из лучших, устраивая настоящий звездопад поэтов (Пушкин, Маяковский, Хлебников, Хармс, Бёрнс, Байрон, Рембо), художников (Рафаэль, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Модильяни, Федотов), музыкантов (Моцарт, Шопен), певцов и актеров (Высоцкий, Даль, Ж. Филипп) на пике их творческой формы или наоборот — результат идентичен. И так далее, по кругу. Схема условная и приблизительная, но существа дела это не меняет. Потому что кризис, стресс и жизнь — это синонимы. Nirvana будет потом. Будет или не будет загробная жизнь. Пока же, по заключению Битова, — клонясь к закату, следует «благодарить за каждый новый день и просить прощения». Кого благодарить и у кого просить — особый вопрос. Благодарить, конечно же, за ВРЕМЯ, доставшееся каждому из нас ДАРОМ, по мудрому замечанию служанки в эпосее Пруста о поисках утраченного времени. Возможно, Битов имел в виду не новый день, а прожитый — не помню, не спросил тогда, не знаю. Но почему-то больше этого императива мне по душе смиренная поговорка, выуженная им когда-то из русского фольклора и ставшая эпиграфом в одном из послесловий: «Родился мал, вырос глуп, помер пьян — ничего не знаю. — Иди, душа, в рай».

Насколько могу судить и помню, при столь мощно развитом творческом эго, смерти он страшился, но на 57-м году жизни, когда мы с ним познакомились, уже не боялся. Дух его окреп после крещения на Кавказе в зрелом возрасте заодно с взрослой дочерью. Он научился правильным молитвам и на пороге смерти вчитывался и вникал в который раз в заочную полемику Пушкина с авторитетным попом Филаретом, как признался литературной даме из своего бывшего окружения, о чем та не преминула сообщить у себя в ФБ. До конца оставалась у него такая барская замашка — чтобы свита играла короля...

